

НИКОЛАЙ АСЕЕВ



феврале 1914 года приехал в Москву итальянский футурист Ф. Маринетти. Он прославлял войну, как «гигиену мира», объявлял новое назначение Италии стать властелином Африки и вообще всячески старал-

ся быть воинственным рыцарем капиталистического возрождения. В Москву он явился как модный пророк такого возрождения. Помню его мечущуюся фигурку с воздетыми вверх руками, истерически восхваляющую самолеты и пушки, в которых, по его мнению, открывалась новая эстетика мира.

Мы — тогдашняя московская литературная молодежь — встретили его выступления свистками. В Политехническом музее, где он выступал, свист стоял такой, что

казалось, сквозняк дует. Однако на оратора свист наш не действовал, и он жестикулировал еще возбужденнее. Оказалось, что свистали зря, так как в Италии свистом поощряют, а не порицают выступающего.

Тогда мы пробрались в «Общество свободной эстетики», помещавшееся в здании тогдашнего «Литературного кружка», на тогдашней Большой Дмитровке, теперешней Пушкинской улице. Туда мы пробились уже с более решительными намерениями — забросать Маринетти гнилой картошкой. Но этого не потребовалось, так как выступление этого зарубежного гостя и без нашего вмешательства обернулось громким скандалом. На предложение председателя собрания вести прения по докладу на французском языке, из-за непонимания лектором русского, сразу восстал появившийся неожиданно Маяковский, который напомнил присутствующим о гоголевских «кружевах холопства на баранах гостеприимства», подразумевая собравшихся восхищенных членов «Свободной эстетики».

Нужно представить себе это собрание тогдашнего цвѣта московских воротил в области эстетики, меценатов и покровителей искусств, видных юристов, модных докторов, адвокатов, артистов, писателей, художников, музыкантов. Нужно представить себе ту атмосферу чинного, исполненного самоуважения собрания, чтобы понять всю дерзость выпада Маяковского против изящно-утонченного общества. Вообразите себе серые, сукном затянутые стены уютного зала, увешанные портретами кисти Серова; портретами, оригиналы которых находились здесь же в зале; вообразите мягкий полусвет вделанных в стены торшеров, концертный рояль Бехштейна, казалось еще хранивший на клавишах прикосновение пальцев не раз игравшего здесь Скрябина; приглушенные голоса, запах тонких духов... И вот в этом святилище искусств и собрания их ценителей раздался зычный молодой бас, протестующий против преклонения перед привезенным из-за границы гротескмейстером грабежа и насилия.

«Какой вы футурист? — гневно гремел на все помещение «Эстетики» молодой Маяковский. — Вы просто турист, коммивояжер войны и грабежа! Пускай вам переведут это, если вы не понимаете по-русски!»

Устроители собрания, услышав такие неподходящие для них речи, спешно объявили о закрытии собрания,

предложив покинуть его «всем не имеющим отношения к обществу».

Маяковский выкрикнул последние свои слова о том, что «Свободная эстетика», очевидно, разрешает только свободный выбор кушаний», как вдруг за спиной председателя выросла фигура, чуть ли не вспрыгнувшая на шкаф, подтянувшись на мускулах. Во всяком случае, фигура эта вдруг оказалась выше всех, над головами поднявшихся с мест членов «Эстетики».

— Я целиком присоединяюсь к русским юношам, протестующим против офранцуживанья прений! Я целиком на стороне их, не мирящихся с этим «званным вечером с итальянцами»! Если эти ребята называют себя футуристами, то я тоже — футурист! Именно они напомнили собранию, что, приехав в чужую страну, надо уважать ее язык, а не торговать залежалым товаром «Мафарки-футуриста»! Я приветствую эту молодежь, отказывающуюся принимать чужую пулеметную трескотню за последнее слово искусства!

Это было громом с ясного неба. Произнесший эту гневную отповедь, неожиданно поддержавшую выступление «неотесанного ломовика» от искусства, как тогда именовался в этих кругах Маяковский, был человеком общества, которое не могло отказать ему ни в таланте, ни в наследственной культуре. Это особенно уважалось московскими меценатами. Собрание было огорошено. Это был входивший тогда в моду Алексей Толстой. Конечно, его горячее выступление было потом объяснено как эксцентричность. Но я запомнил его крупные черты лица, вытянутые в крике губы, часто моргающие, как бы в недоумении от происходящего, глаза, в кружок подстриженные волосы. Запомнил надолго.

Много позже, встречаясь с Алексеем Николаевичем по приезде его в Советскую Россию, я был вначале настроен несколько настороженно в отношении искренности и прямоты ко мне. Он тоже приглядывался ко мне, как человеку непроверенной доброжелательности или враждебности. Но и эти короткие встречи подтвердили мое первое впечатление большого, настоящего темперамента, душевной простоты, огражденной необходимой долей хитроватости для защиты от неприязненных взглядов и суждений; но главное в нем было это любопытство к жизни, ко всем ее про-

явлениям и движениям. В случае чего-нибудь ему непонятного или неизвестного Алексей Николаевич смешно, по-детски выпячивал губы, часто-часто моргал глазами и затем, обмозговав явление, всей ладонью сверху вниз как бы стирал с лица недоумение или противоречие. И вдруг лицо прояснялось и глубокий, душевный, от самых печенок идущий смех потрясал его уже потучневшую фигуру. «Ххха!» — как бы выдыхал он из себя все сомнения о предмете или явлении, представшем перед ним; и за этим шло уже объяснение, по-своему определяющее то, о чем шла речь.

Смеялся ли он, серьезился ли, ел, шутил, говорил ли об искусстве — все в нем было вкусно, чувственно, крупно. Слова его были зернисты, крупной крошки, жарки, как уголья. В своей шубе и шапке он был сам как жаркий костер зимой. Возле него хотелось остановиться, посмотреть на огонь, поплясать вокруг. Такой он был жаркий, будто только что из бани.

Встретились мы с ним летом, еще в двадцатых годах, в санатории. Было это на теннисной площадке. Ему очень хотелось поиграть, но несколько отяжелевший корпус не давал ему свободы движения, и он не долго оставался на корте. Усевшись на скамеечку и глядя на игравших, мы разговорились о стихах. Я напомнил ему про ранние его стихи:

— Помните, Алексей Николаевич, какие вы стихи писали?

В старинном замке скребутся мыши,
В старинном замке, где много книг,
Где каждый шорох так чутко слышен,—
В ливрее спит лакей-старик...

— Да, это я писал действительно. А почему вы их помните?

— А вот почему. Мне стариком лакеем кажется вся эмигрантщина и ее поэзия. А вам не кажется этого?

Алексей Николаевич провел рукой по лицу — «умылся», как я это называл; поморгал глазами и ответил:

— Жесткие вы люди, современные поэты. Почему вы ничего никому не прощаете?

— Да ведь прощать-то, — говорю, — собственно, нечего. Ведь у них главный грех — это бессилие творческое.

А бессилие оттого, что ушли из России, оторвались от кровных своих, от обычаев, повадок, языка, от народа своего отвернулись, на чужих хлебах жить стали. Ну, разве это не правда, Алексей Николаевич!

— Правда-то оно, может, и правда, да ведь и правда бывает жесткая. И под иную правду нужно подвертку подкладывать! А то ведь ногу сотрешь на большом ходу...

Этот разговор хорошо сохранился у меня в памяти.

Еще бывали встречи в Комитете по Государственным премиям, в театре, в ресторане. Из них так же отчетливо помню две. Однажды, после длинного заседания, утомившего и разголодавшего, решили пойти в ресторан, кажется «Арагви», обедать. Алексей Николаевич заказал себе какой-то особый суп из бычьих хвостов, или из бараньих, точно не вспомню, помню только, что хвосты в нем были непременно.

Ел его он с наслаждением, зажмуриваясь от удовольствия и говоря, что когда перед ним это блюдо, то из пара его встает солнце над степью. Я сказал, что в нем еще живет предок-кочевник. Он доел суп, утерся салфеткой в обе стороны рта, посмотрел на меня, серьезно нахмурив брови:

— Да вы ведь сами-то Асеев — татарин!

— Почему это?

— А вот потому, что ваш предок татарин Асейка сидел в Кремле наместником, когда Александр Невский уходил рыцарей бить. Вот какое дело!

— Ну, знаете, это слишком отдаленные поиски моей родословной; проще то, что у нас в подгородней деревне Люшенька, Льговского района, весь порядок улицы заселен Асеевыми.

— Ну и что ж такого? Что ж такого? Вот оно так и выходит, что ваш предок или его потомки получили деревеньку эту с угодьями во владение. Вот и стали зваться люди Асейкиными, а после, ради уважения к владельцу угодий, не уменьшительным именем, а полным: Асеевыми. А то, что вы из Льгова, это вам на пользу. Ведь обо Льгове еще Тургенев писал: там хорошо говорят люди, непорчено.

Не помню, к чему, но кстати был у нас еще разговор относительно его шубы. Шел он, распахнувшись, на мой седьмой этаж. Лифт не действовал. Запыхались оба. На

шестом этаже стали у окна отдышаться. Толстой долго смотрел на видимый из окна Кремль и за ним маячившую мачту Шаболовки.

— Вот они,— сказал он,— «оба-полы времени».

— Вы так это трактуете? А мне кажется, что не так это место толковать нужно. У нас на Курщине есть выражение «обаполы», то есть «около того». Может быть, и при авторе «Слова о полку Игореве» существовало это слово?

— А что же? И так быть может. У вас в Курске понимают язык.

— Ну, а пока тащите-ка «обе полы» вашей шубы еще на этаж!

Это была моя последняя встреча с Алексеем Николаевичем.

Может быть, она и повлияла на оценку моего языка, которую сделал А. Н. Толстой и которой я очень горжусь. Правда, он не упомянул о курском «непорченом» языке, но не менее того расценил мою поэму «Маяковский начинается», сказав о ней, что в ней язык — «коренной московский, какому нужно учиться и учиться молодым поэтам».

Эти подлинные слова А. Н. Толстого я ценю больше всех сказанных обо мне критиками и исследователями; ими я защищаюсь внутренне ото всех придилок и наставлений редакторов, склонных к правильно безупречному и бесцветному правописанию. Вот уж Алексей Толстой не был потатчиком такого рода любителям бесцветной правильности выражений. Язык его остается примером жаркого дыхания истории, не остывающего ни на каком холоде.